

Шерамур

Автор:

Николай Лесков

Шерамур

Николай Семёнович Лесков

Праведники #10

«По некоторым, достаточно важным причинам выставленная кличка должна заменять собственное имя моего героя – если только он годится куда-нибудь в герои.

Если бы я не опасался выразиться вульгарно в самом начале рассказа, то я сказал бы, что Шерамур есть герой брюха, в самом тесном смысле, какой только можно соединить с этим выражением. Но все равно: я должен это сказать, потому что свойство материи лишает меня возможности быть очень разборчивым в выражениях, – иначе я ничего не выражу. Герой мой – личность узкая и однообразная, а эпопея его – бедная и утомительная, но тем не менее я рискую ее рассказывать...»

Николай Лесков

Шерамур

(Чрева-ради юродивый)

Глава первая

По некоторым, достаточно важным причинам выставленная кличка должна заменять собственное имя моего героя – если только он годится куда-нибудь в герои.

Если бы я не опасался выразиться вульгарно в самом начале рассказа, то я сказал бы, что Шерамур есть герой брюха, в самом тесном смысле, какой только можно соединить с этим выражением. Но все равно: я должен это сказать, потому что свойство материи лишает меня возможности быть очень разборчивым в выражениях, – иначе я ничего не выражу. Герой мой – личность узкая и однообразная, а эпопея его – бедная и утомительная, но тем не менее я рискую ее рассказывать.

Итак, Шерамур – герой брюха; его девиз – жрать, его идеал – кормить других; в этом настроении он имел похождения, достойные некоторого внимания. Я опишу кое-что из них в коротких отрывках: это единственная форма, в которой можно передать что-нибудь о лице, не имевшем никакой последовательности и не укладывающемся ни в какую форму.

Начинаю с того самого случая, как он показался первому человеку, который обнаружил в нем нечто достойное наблюдения.

Летом 187* года в Париж прибыл из Петербурга литературный Нето.[1 - Никто – лат.] Он поселился в небольшой комнатке, против решетки Люксембургского сада, и жил тут тихо и смиренно несколько дней, как вдруг однажды входит к нему консьерж и говорит, что пришел «некто» и требует, чтобы monsieur вышел к нему – на лестницу.

Нето имел основания не любить таинственности и с неудовольствием спросил:

– Кто это такой и что ему нужно?

– Я думаю, это некто из ваших, – отвечал француз.

– Это мужчина или женщина?

– Во всяком случае мне кажется, что это скорее мужчина.

– Так попросите его сюда.

– Да, но мне кажется, что ему неудобно войти.

– Разве он пьян?

– Нет; он... раздет.

Глава вторая

На узенькой спиральной лестнице с крошечным окном в безвоздушный канал, образовываемый тремя сходящимися острым углом стенами, стояла очень маленькая, но преоригинальная фигура. Первое, что бросилось в глаза Немо, были полудетские плечи и курчавая голова с длинными волосами, покрытая истасканною бандитскою шляпою.

Сначала казалось, что это костюмированный тринадцати- или четырнадцатилетний мальчик, но чуть он оборотился, вид изменился: перед вами прежде всего два яркие, черные глаза, которые горят диким, как бы голодным огнем, и черная борода замечательной величины и расположения. Она заросла по всему лицу почти под самые глаза и вниз закрывает грудь до пояса. Такую бороду, по строгановскому лицевому подлиннику, указано писать только преподобному Моисею Мурину, вероятно ради особенности его мадьярского происхождения и мучительной пылкости темперамента этого святого, которому зато и положено молиться «от неистовой страсти».

Немо подошел к незнакомцу и спросил:

– С кем я имею честь...

– Никакой нет чести, – отвечал незнакомец не натуральным, а искусственным баском, как во время оно считали обязанностью хорошего тона говорить кадеты выпускного класса. Немо понимал некоторый толк в людях и сам переменял манеру.

- Что же вам надо? – спросил он гостя.

- Имею дело.

- Так войдите в комнату.

- У вас нет никого?

- Никого.

- Могу.

И незнакомец пошел за хозяином важно и неспешно, переставляя свои коротенькие ножки, а когда взошел, то сел и, не снимая шляпы, сейчас же спросил:

- Нет ли у вас работы?

- Работы!

- Да, нет ли у вас какой работы?

- Да какая же у меня работа?

- Разве я знаю, какая?

- Вы мастеровой?

- Нет, не мастеровой, а мне говорили, что вы романы пишете.

- Это правда.

- Так я переписывать.

- Но теперь я ничего не пишу.

- Вот как! Значит - сыты.

Он встал и, немного насупясь, добавил:

- А деньги есть у вас?

Хозяин невольно посторонился и спросил:

- Что это значит?

- Значит, что я три дня не жрал.

- Сколько же вам нужно?

- Мне нужно много, но я у вас хочу взять два франка.

- Извольте.

Турист опустил руку в портмоне и подал своему гостю пятифранковую монету.

- Здесь больше, - сказал тот.

- Это все равно.

- Да, разумеется, - вы сдачи получите.

С этим он завернулся и вышел тем же ровным шагом, с тою же неизменной важностью. Во время разговора можно было видеть, что у него некрепко держатся рейтузы и под блузою нет рубашки.

Глава третья

Нето рассказал историю землякам: те сразу узнали.

- Это, - говорят, - Шерамур.
- Кто он?
- Неизвестно.
- Во всяком случае он русский.
- О да! русский, у него какая-то таинственная история.
- Политическая?
- Кто его разберет! но, кажется, политическая.
- По какому делу он сюда сбежал?
- Право, не знаю, да и знает ли он сам об этом - сомневаюсь.
- Он не сумасшедший?
- Разве с точки зрения доктора Крупова.
- И не плут?
- Нет, он по-своему даже очень честен: да вот вы сами в этом убедитесь.
- Каким образом?
- Он занял у вас денег?
- А вы почему так думаете?
- Если он приходил, значит или долг принес, или умирает с голоду и в долг просит.

- Я ему очень мало дал.
- Все равно: он принесет.
- Я этого вовсе не требую.
- Мало ли что! А вы если хотите у него заискать, то сведите его пожрать.
- Он не обидится?
- Нимало; он человек натуральный; только не ведите в хорошее место: этого он терпеть не может, а куда-нибудь погрязнее.

Глава четвертая

На другое утро спит Немо и слышит:

- Проснитесь!

Тот открыл глаза и увидел перед собою Шерамура. Он был по-вчерашнему в блузе без рубашки и в бандитской шляпе. Только яркий, голодный блеск черных глаз его немножко смягчился, и в них даже как будто мелькало что-то похожее на некоторый признак улыбки. Он протянул к хозяину руку и проговорил:

- Получайте.

- Что это?

- Три франка сдачи.

- Присядьте, - я сейчас встану, и мы пойдем вместе завтракать.

Шерамур сел и, положив деньги на стол, проговорил:

– Могу.

Глава пятая

Они пили и ели именно так, как хотел того Шерамур, даже не у Дюваля, а пошли по самому темному из закоулков Латинского квартала и приютились в грязненьком кабачке дородной, богатырского сложения нормандки, которую звали Tante Grillade. Это была единственная женщина в Париже, которую Шерамур знал по имени и при встречах с которой он кивал ей своею горделивою головою. Она этого стоила, потому что имела историческую репутацию высокой пробы. Если она не лгала, то она в самом цвете своей юности была предметом внимания Луи Бонапарта и очень могла бы ему кое-что напомнить, но с тех пор, как он сделался Наполеоном Третьим, Grillade его презирала и жила, содержа грязненькую съестную лавку.

Было ли это все правда, или только отчасти, – это оставалось на совести Танты, но Шерамур ей верил: ему нравилось, что она презирает «такого барина». За это он ее уважал и доказывал ей свое уважение, перед ней одной снимая свою ужасную шляпу. Притом же она и ее темный закоулок составляли для Шерамура очень приятное воспоминание. Здесь, в этой трущобе, к нему раз спускалось небо на землю; здесь он испытал самое высокое удовольствие, к которому стремилась его душа; тут он, вечно голодный и холодный нищий, один раз давал пир – такой пир, который можно было бы назвать «пиром Лазаря». Шерамур самыми удивительными путями получил по матери наследство в триста или четыреста франков и сделал на них «пир Лазаря».

Он отдал все эти деньги Танте и велел ей «считать», пока он проест.

С того же дня он ежедневно водил сюда по несколько *voeuu*[2 - оборванцев – франц.] и всех питал до тех пор, пока Танта подала ему счет, в котором значилось, что все съедено.

Теперь он сюда же привел своего консоматера. Им подали скверных котлет, скверного пюре и рагу из обрезков да литр кислого вина. Шерамур ел все это сосредоточенно и не обращая ни на кого никакого внимания, пока отвалился и сказал:

– Буде!

С этого у Nemo и Шерамура завязалось знакомство, которое поддерживалось «жратвою» у Tante Grillade и с каждым днем выводило наружу всё новые странности этого Каинова сына.

Глава шестая

Немо мог определить, что Шерамур был чрезвычайно горд, потому что он был очень застенчив, но понятия о самой гордости у него были удивительные. Так, например, корм он принимал от всякого без малейшего стеснения и без всякой благодарности. Кормить, – это, по его мнению, для каждого было не только долг, но и удовольствие. В том, что его кормят, он не только не усматривал никакого одолжения, но даже находил, что это мало. И действительно – сам он при тех же средствах сделал бы гораздо больше. При тех же средствах он накормил бы несколько человек. Жратва была пункт его помешательства: он о ней думал сытый и голодный, во всякое время – во дни и в ночи.

Приходит он, например, и видит банку с одеколоном. Тотчас намечает ее своим сверкающим взглядом и, показывая на нее пальцем, с презрением спрашивает:

– Это что?

– Одеколон.

– Зачем нужен?

– Обтираюсь им.

– Гм! Обтираетесь. Разве прелое место есть?

– Нет; прелого места нет.

– Так зачем же такая низость!

- Кому же это вредно?

- Еще и спрашиваете: лучше бы сами пожрали да другого накормили.

- Пойдемте, - накормлю.

- Что же одного-то кормить... сказали бы, так я бы еще человек пять позвал.

Другой раз он застаёт на комодe белье, принесенное прачкою, и опять тычет пальцем:

- Чьи рубашки?

- Разумеется, мои.

- Сколько тут?

- Кажется, четыре.

- Зачем столько?

- А по-вашему, сколько рубашек можно иметь человеку?

- Одну.

- И будто у вас всего одна?

- Нет; у меня ни одной.

- Без шуток, ни одной?

- Какие шулки, мы не такие друзья, чтобы шутить шулки.

С этим он расстегнул блузу и показал нагое тело.

- Вот вам и шутки.

- Возьмите у меня рубашку.

- Могу.

Он взял поданную ему рубашку, пошел за занавес, а оттуда кричит:

- Нож!

- Вы не зарежетесь?

- Это не ваше дело.

- Как не мое дело! Я не хочу, чтобы вы здесь у меня напачкали кровью.

- Эка важность!

- Нет, не режьте у меня.

- Не зарежусь - я нынче пожравши.

- Нате вам нож.

Послышался какой-то треск, и что-то шлепнуло.

- Что это вы сделали?

Он вместо ответа выбросил отрезанные от обоих рукавов манжеты и появился сам в блузе, из-под обшлагов которой торчали обрезки беспощадно оборванных рукавов рубашки.

Этак ему казалось лучше, но тоже не надолго, - завтра он явился опять без рубашки и на вопрос: где она? - отвечал:

– Скинул.

– Для какой надобности?

– У другого ничего не было.

Таков он был в бесконечном числе разных проявлений, которые каждого в состоянии были убедить в его полнейшей неспособности ни к какому делу, а еще более возбудить самое сильное недоразумение насчет того: какое он мог сделать политическое преступление? А между тем это-то и было самое интересное. Но Шерамур на этот счет был столь краток, что сказания его казались невероятны. По его словам, вся его история была в том, что он однажды «на двор просился».

Как и что? Это всякого могло удивить, но он очень мало склонен был это пояснять.

– Бунт, – говорит, – был. Мы все, техноложцы, в институт пришли – ворота заперты, не пускают. Мы стали проситься на двор пустить, – пихать начали. Меня взяли.

– Ну а потом?

– А потом – я ушел.

– Зачем?

– Да что же ждать – неизвестно бы куда засудили.

И больше ничего не добьетесь, да и сомнительно, есть ли чего добиваться.

До сих пор говорю с чужих слов – теперь перехожу к личным наблюдениям, которые были счастливее.

Глава седьмая

Я о нем в мою последнюю поездку за границу наслышался еще по дороге – преимущественно в Вене и в Праге, где его знали, и он меня чрезвычайно заинтересовал. Много странных разновидностей этих каиновых детей встречал я на своем веку, но такого экземпляра не видывал. И мне захотелось с ним познакомиться – что было и кстати, так как я ехал с литературной работой, для которой мне был нужен переписчик. Шерамур же, говорят, исполнял эти занятия очень изрядно.

Его адреса никто не знал, но я взял адрес Tante Grillade, и он мне помог. По письму, оставленному в этом кабачке, Шерамур ко мне явился, совершенно таким, каким я его описал выше: маленький, коренастый, с крошечным носиком и огромной бородой Черномора.

Здесь, кстати, замечу, что кличка Шерамур была не что иное, как испорченное на французский лад Черномор, а происхождение этой клички имеет свою причину, о которой будет упомянуто в своем месте.

Я не торопил Шерамура сближением, а просто дал ему работу, и в первый визит он со мною не говорил почти ни слова, а только кивал в знак согласия, но, принеся через три дня назад переписанную тетрадь, разговорился.

– Все ли вы, – спрашиваю, – разобрали в моей рукописи, – не трудно ли было?

– Ничего нет трудного, а только одно трудно понять: зачем вы это пишете?

– Печатать буду.

– Очень нужно.

– Вам это не нравится?

– Не не нравится, а зачем всякую юрунду. (Он именно говорил юрунду.)

– Добрые люди купят, прочтут, посмеются и бросят.

– Ну да; только и всего. Стоит того дело. Могли бы что-нибудь лучше написать.

- Да что лучше-то? - Не умею.

- Ну да; не умеете! Нет, вы, я вижу, не совсем глупый!

- Да не знаю, - говорю, - что же такое надо писать?

- Полезное что-нибудь.

- Например?

- Я ведь не писатель, - что меня спрашивать. Если бы я был писатель, - я бы написал.

- Статью?

- Не знаю, может быть и статью.

- О чем?

- О том, чтобы всем было что жрать, - вот о чем.

- Как же это надо написать?

- Не знаю, - пишут.

- Где?

- Я не знаю; а пишут.

- Да все, - говорю, - мало куда годится.

- Оттого, что не дописывают.

- А отчего не дописывают?

- А черт их знает.

- Ума мало или смелости недостает?

- Да я не знаю.

- Вы революционер?

- Ну вот еще! Жрать всем надо, вот революция. В революцию хорошо, кто большого роста.

- Это почему?

- Потому что маленького никто не слушает.

- А вот Наполеоны-то, - ведь они оба были небольшого роста, а их слушались.

- Так это у французов; они на рост не глядят; а у нас надо, чтоб дылда был и ругаться умел.

- А вы разве этого не можете?

- Нет, не могу.

- А жрать?

Он улыбнулся, но только удивительно странно, сначала одним, а потом другим глазом, точно он не смел сразу обоими улыбнуться, и отвечал:

- Могу.

- Ну, идемте.

И он ходил со мною раз и два, и, наконец, за обычай взял со мною питаться, и освоился до того, что раз сказал:

- А я еще и другую штуку могу.

- Какую?

- Подвыть.

- Как же это?

- Здесь нельзя - страшно.

Я об этом и позабыл, но потом мы с ним как-то пошли за город в Нельи. Это был хороший вечер; мы всё бродили, бродили, сели на бережку ручья и незаметно осмеркли.

Он так же незаметно от меня отлучился и где-то исчез. Я задумался и совсем про него позабыл, но вдруг вздрогнул и вскочил в ужасном испуге, и было чего: в самом недалеком от меня расстоянии громко и протяжно провыл голодный волк... И прежде чем я мог оправиться, - он завыл снова.

Надо было опомниться, что я всего в двух шагах от Парижа, которого грохот слышен и которого огни отражаются заревом, чтобы понять, как трудно было появиться здесь волку.

И пока я это сообразил, предо мною предстал Шерамур.

- Каково? - говорит.

- Это вы выли?

- Я. Разобрали, в чем дело?

- Какое же дело?

- Слушайте.

И он опять сел на корточки, сложил у рта ладошки и завыл: «Уаа-уаа-уаа».

– Разобрали?

– Нет; но вы действительно воете как настоящий волк.

– Еще бы! Мы, бывало, все этак хором воем.

– Кто, где?

– Техноложцы-то, в Петербурге, когда топить нечем и жрать нечего. Завоем, – хозяйка испугается и даст дров и поплеванник – чтобы замолчали. Ведь это слова.

Он опять опустил на корточки и еще раз завыл, но гораздо протяжнее, и в этот раз в этом вое я разобрал слова:

Холодно, странничек, холодно;

Голодно, родименький, голодно!

И мне стало жутко и больно, а он стал рассказывать, как им бывало холодно и как голодно, и как они, вымолив полено дров и «поплеванник», потом разогревались прыгая вокруг пустой комнаты и напевая:

А лягушки по дорожке

Скачут, вытянувши ножки,

Ква-ква-ква-ква,

Ква-ква-ква-ква,

На него, кажется, действовала ночь, звезды и свобода открытого пространства. Он был в духе и в каком-то порыве на откровенность. Я этим воспользовался.

Глава восьмая

- Неужто вам, – говорю, – когда вы так бедствовали, никто не помогал?
- А кто мне станет помогать? со мною всё бедняки жили; все втроем редко жрали.
- Не все же технологи, или, по-вашему, «техноложцы», так бедны.
- Да, у кого есть отцы, – не бедны, разумеется, – им помогали.
- А ваш отец?
- У меня отца не было, – только родитель.
- Какая же тут разница?
- Отец жалеет, а родитель – родит и бросит.
- Кто же был ваш родитель?
- Мизантроп.
- Чем он занимался?
- Дворянин – развлекал свою ипохондрию.
- Ну, а мать, разве и она о вас не заботилась?
- Чем ей заботиться? – одна из крепостных девок была.
- Так вы, значит, из податного звания?
- Нет; из благородного, – мизантроп ее за чиновника выдал.
- Вы всё путаете.

- Ничего не путаю: родитель был один, а отцом другой числился; муж материн в казначействе служил.

- Да вы чью фамилию-то носите?

- Материного мужа.

- Ваша матушка, верно, была очень красива.

- Ну вот... Разумеется, не такая, как я. А у него все равно были всякие: и красивые и некрасивые, и всех замуж выдавал.

- И приданое давал?

- Матери пятьсот рублей дал, за чиновника, а которых за своих - тем не давал.

- Значит, он вашу матушку больше других любил.

- Время такое пришло: эманципация. Крепостные не захотели без награждения. А он рассудил, что если с награждением, так уж все равно за благородного. Чиновник и взялся.

- Выходит, вы все-таки счастливее других.

- Не вижу, те наделы получили, а я нет.

- А чиновник вас не обижал, воспитывал?

- Мы у него не жили, он с матерью очень дрался; она назад убежала.

- К мизантропу?

- Да; меня швырнула ему, а сама утопиться хотела. Он нового суда побоялся и взял нас.

- Тут вам хорошо было?

- Ничего не было хорошего: меня к акушерке на воспитание в город отдали.

- Это добрая была женщина?

- Шельма; сама все с землемером кофей пила, а мне жрать не давала. И землемер очень бил.

- Зачем?

- Так; напьется и бьет по головешке. Я оттого и расти перестал – до двенадцати лет совсем не рос. В училище отдали: там начал жрать и стал подниматься. А пуще в пасалтыре морили.

- Что это такое за «пасалтырь»?

- Чулан, – землемер так называл. «Бросить, скажет, его в пасалтырь», – меня и бросят, да и позабудут без корму. А там еще тесно, все стена перед носом, Я от этого пасалтыря и зрение испортил, что все в стенку смотрел. В училище привели – за два шага доски не видел.

- Вы в каком были училище?

- В гимназии.

- Окончили курс?

- Нет; у меня от битья память глупая.

- А потом?

- В технологию.

- Что же тут, больше учились или больше читали?

- Больше всего опять жрать было нечего, а иногда и читали.

- А что читали?

- Много - не помню.

- Стихи или прозу?

- И стихи и прозу.

- И ничего не помните?

- Одни стихи помню, потому что много списывал их.

- Какие?

- Начало божественное, а потом политическое:

И вы подобно так падете,

Как с древ увядший лист падет,

И вы подобно так умрете,

Как ваш последний раб умрет.

- Это - говорю, - «Властителям и судиям».

- Вот, вот, оно самое.

- Зачем же вы его списывали?

- Всем нравилось.

- Да ведь это державинское стихотворение: оно есть печатное.

- Ну, рассказывайте-ка.

- Не верите?

- Разумеется.

- Ну так знайте же, что это переложение псалма, и оно было в хрестоматии, по которой мы, бывало, грамматический разбор делали.

- Ну, а мы не делали.

- Бедняжки.

- Ничего не бедняжки.

- А когда вы окончили свою технологию?

- Я ее не кончал.

- Почему?

- Политическая история помешала.

- А какая же это была история?

- Наши студенты на двор просились.

- Для какой надобности?

- Как для какой надобности? Без двора разве можно? двор заперли, и некуда деться: мы проситься. Бударь говорит: нельзя на двор – от начальства не велено, а мы его отпихнули, и пошел бунт.

- Верно, прежде была какая-нибудь распря.

- Я тогда не ходил, у меня за ухом юрунда какая-то вспухла, и ее в тот день только распороли.

- Как же вы этим не оправдались?

– А как это оправдаться, стали нас показывать, – бударь на меня говорит: «Вот и этот черномордый тоже на двор просился». Меня отставили, а ему велели изложить. Он говорит: «Я не пуцал, а он, как Спиноза, промеж ног проюркнул». Меня за это арестовали.

– За Спинозу?

– Да.

– Долго же вы были под арестом?

– Нет; я скоро в деревню уехал, – меня графиня выпросила.

Он, к крайнему моему удивлению, назвал одно из самых великосветских имен. Я впервые ему не поверил.

– Почему она вас знала?

– Ничего не знала, а у нас был директор Ермаков, которого все знали, и он был со всеми знаком, и с этой с графинею. Она прежде жила как все, – экокес танцевала, а потом с одним англичанином познакомилась, и ей захотелось людей исправлять. Ермаков за нас заступался, рассказывал всем, что нас «исправить можно». А она услышала и говорит: «Ах, дайте мне одного – самого несчастного». Меня и послали. Я и идти не хотел, а директор говорит: «Идите – она добрая».

– И что же: вправду так вышло?

– Ничего не правда. Пустили к ней скоро – у нее внизу особый зал был. Там люди какие-то, – всё молились. Потом меня спросила: «Читал ли Евангелие?» Я говорю: «Нет». – «Прочитайте, говорит, и придите». Я прочитал.

– Всё прочитали?

– Всё.

- Что же – понравилось вам?

- Разумеется, мистики много, а то бы ничего: есть много хорошего. Почеркать бы надо по местам...

- Вы так и графине отозвались?

- Не помню, – да ведь еще раньше генерал Дубельт говорил... Я читал об этом, а с графией... не помню... Все равно она была дура. Она мне долбила все про спасение, только мне спать захотелось, а ничего не понял.

- Что же такое было непонятное?

- «Надо прийти ко Христу». Очень рад, – только как это сделать? Или будто я спасен... Почему я это знаю! Или про кровь там и все этокое: ничего по-настоящему нельзя понять. Я сказал, что я этого не понимаю и мне это не нужно. Она стала сердиться: «Оставим, говорит, до деревни, – вы там поймете». Дорогою хотела меня с собой посадить и читать, а потом во второй класс послала; две девки, я да буфетчик. Мы и поссорились.

- Какое же вам до них дело было?

- Подлости говорят и бесстыдство: я это ненавижу; а потом с мужиком скандал вышел – все и пропало.

Глава девятая

Вот в чем заключался этот эпизод – нелепый, курьезный и отрывочный, как все эпизоды своеобразной эпопеи Шерамура.

- Мы поехали, – начал он. – Графиня сама села в первый класс, и детей и старую гувернантку англичанку тоже там посадили, а две девки и я да буфетчик во втором сели. Буфетчик мне подал билет и говорит:

«Графиня вам тут велела».

Я говорю:

«Мне все равно». А как они стали разные глупости говорить, я и ушел в третий класс к мужикам.

– Какие же такие нестерпимые глупости они говорили?

– Всякие глупости, всё важных из себя передо мною представляли: одна говорит, что ее американский князь соблазнить и увезть хотел, да она отказалась, потому что на пароходе ездить не может, будто бы у нее от колтыханья морская свинка делается. Противно слушать, а на первой станции при нас большая история вышла: мужика возле нашего вагона бить стали. Я говорю: «За что?» А кондуктор говорит: «Верно, заслуживает». Я самого мужика спросил: за что? а он говорит: «Ничего!» Я подскочил к графине, говорю: «Видите, бесправие!» А она закричала: «Ах, ах!» и окно закрыла. Буфетчик говорит: «Разве можно беспокоить». Я говорю: «Если она христианка, она могла за бедного заступиться». А он: «С какой стати этак можете? – вы ангелист». А я говорю: «А ты дурак». И повздорили. Они и начали про студентов намеки. «Теперь, говорит, все взялись за этот ангелизм. Коим и не стоило звания своего пачкать, и те нынче счета считают. У нас тоже теперь новый правитель – только вступил, сейчас счета стал перемарывать. Зачем, говорит, пельсики пять с полтиной ставить, когда они по два рубля у Юлисеева? – Это воровство». Ах ты дрянная юная! Мы при твоём отце не такие счета писали, и ничего, потому что то был настоящий барин: сам пользовался и другим не мешал; а ты вон что!

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Никто – лат.

2

оборванцев – франц.

Купить: <https://tellnovel.com/nikolay-leskov/sheramur>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)